

ЖОРЖ БЕРНАНОС

Диалог теней
Жорж Бернанос

Жорж Бернанос. ДИАЛОГ ТЕНЕЙ

Жорж Бернанос
ДИАЛОГ ТЕНЕЙ

— Не бойтесь, — сказала она. — Ранса вышла из берегов от самого Вернея, дорога, пожалуй, на целый фут под водой… Взгляните: волна уже устремилась к истоку. Минут через пять ее уже не будет слышно.

Она смотрела ему в глаза с каким-то спокойным любопытством.

— В любом другом месте нас могли бы застать врасплох, Жак. Здесь — нет. Я все продумала.

Неуловимая, чуть лукавая улыбка скользнула, как тень, по ее лицу.

— Вас это удивляет?

— Чему мне удивляться, дорогая?

— Не лгите, Жак, — сказала она. — Лучше бы я была не так осмотрительна, не так осторожна. Я и сама чувствую: когда женщина любима, есть какая-то прелесть в том, что она превращается в ребенка — по-детски капризна, по-детски безрассудна и наивна тоже по-детски, наивна во всем! Но не каждый способен терять голову.

— Я вас люблю именно такой, — сказал он. — Люблю вашу морщинку, эту почти незаметную складку между бровями, в двадцать три года рассекшую ваш прекрасный лоб. В моем возрасте уже не веришь ни капризам, ни безрассудству, а когда женщина теряет голову, это, знаете ли,

очень часто самообман, всего лишь комедия, разыгрываемая для себя, если нет уверенности в силе собственного чувства. Какое это все может иметь значение, раз вы не сомневаетесь ни в себе, ни во мне.

— И правда, какое? — промолвила она, отводя взор к горизонту, намокшему от дождя.

— Франсуаза, — продолжал он, помолчав, — простите меня, не о том мы говорим. Я верю в вас, как никогда и ни в кого не верил. Я вам верю. Верю даже больше, чем люблю, мне это необходимо, это потребность самого моего существа, такая же сильная, такая же естественная, как инстинкт самосохранения. Я завишу от вас, я в зависимом положении. Либо моя жизнь вовсе ничего не значит, либо смысл ее — в вас. Если предположить, что душа существует и что мне она была дана, то, потеряв вас, я обречен понапрасну влачить ее сквозь пустые годы.

— Кто знает? — только и сказала она рассудительным тоном. — Кто может заранее знать?

— Я это узнаю.

— Я тоже, я тоже завишу от вас! — внезапно воскликнула она с таким исступленным трепетом радости, что это больше походило на вспышку гнева. — Я завишу от вас полностью. Да, Жак,

вы надеетесь на что-то, чего никогда не получите, — ни от меня, ни от другой, — и все же вы надеетесь. А я ни на что не надеюсь. О, не глядите на меня так, не спешите меня жалеть. Можно прожить и без надежды, если у сердца достанет сил и проворства поймать свое счастье как бы на лету и напитаться им разом. Дорогой, все мое счастье вот в этом мгновении, когда вы так нуждаетесь во мне. Я бедная девушка, неопытная, упрямая, одинокая, я не умею выразить то, что чувствую, из меня вам не вытянуть ни единой жалобы, ни единого вздоха, ничего, что вы могли бы услышать и повторить в ваших книгах, ни единой жалобы, ни единого вздоха, если бы вам даже пришлось покончить со мной.

— Покончить с вами, Франсуаза? И это говорите вы, такая осторожная, такая благоразумная?

— Я вовсе не такая, как вы думаете. (Порыв ветра сквозь лесную поросль, еще по-апрельски прозрачную, плеснул ей дождем в лицо, и она нервно провела по щекам маленькой бледной рукой.) Не щадите меня. Никогда не щадите. Да, я была осторожна и благоразумна, но только ради того, чтобы подготовить, сделать неизбежным, неотвратимым грядущий день, когда я отдамся безоглядно, всем своим существом, с такой пол-

нотой, какая и не снилась ни одной из тех, кто вас любил. Я знаю, что гублю себя, дорогой. Но тем самым я погублю и их всех. Да, я гублю себя, потому что сегодня вечером, в эту минуту, даю обещание, которое нельзя сдержать. Да, когда-нибудь вы еще упрекнете меня за мою жертву, потому что она заведомо бессмысленна. Могу ли я поверить, что я именно та единственная женщина, которая способна вам нравиться, способна привязать вас к себе? Какое безумье! Но будь это даже и так, разве у меня есть надежда вернуть вам то, что принадлежало мне, на что имела право я и что вы отдали другим, растратили, расшвыряли, разбазарили — вашу молодость, вашу бесценную молодость, к которой я ревную! Господи, Жак, смотрите на меня. Я хочу хотя бы видеть ваши глаза! Вы меня любите, все хорошо, все прекрасно, все свято, во всем есть смысл, — да, во всем! Я наговорила глупостей, в этом вздоре правда только одно: губя себя, я — последняя гублю вместе с собой всех соперниц, сегодня я их устраняю навсегда.

— Любовь моя, — сказал он тихо, — что за странное удовольствие находите вы в том, чтобы унижать себя?

Она остановила на нем долгий, пристальный

взгляд, ее восхитительные серые глаза постепенно темнели, словно глубокая вода.

— Не знаю, — ответила она. — Во мне была гордыня, С той поры как я полюбила вас, я чувствую, что только ею не могу поступиться перед вами до конца. А я хотела бы исторгнуть ее из себя. Я хотела, чтобы вы исторгли ее из моего сердца.

Как ни резко она отвернула лицо, он заметил брызнувшие слезы и услышал сквозь ветер и ненастье, трагичней всяких рыданий, ее вздох, подобный стону раненого животного.

— Моя дорогая!.. — только и сказал он. И на мгновение безмолвно коснулся пальцами маленького сжатого кулака.

Дождь по-прежнему струился вокруг них, почти не проникая сквозь черные лапы сосен. В воздухе на разные голоса завывала непогода, важно перекликались вороны.

— Я молчу, — вновь заговорил он, — благоволите разрешить мне молчать. Ничто не может быть исторгнуто из такого сердца, как ваше. Но я умиротворю его, клянусь, я дам ему покой. Доверьтесь мне.

— Покой, — прошептала она сквозь зубы. — О Жак, не говорите мне о покое. Он мне слишком знаком. Видите там, за нами, этот уродливый дом,

лужайки, глину аллей, безлюдные холмы, этот горизонт, необозримый и пустой, этот унылый, отвратительный пейзаж… Завтра я со всем этим расстанусь.

— Даже сегодня, если хотите… Будь я на двадцать лет моложе (бог не пожелал этого!), у меня достало бы безумья доказывать вам, что это не было покоем, что вы называли покоем безмолвный бунт несчастной подавленной души. Но к чему доказывать? Доказать ничего нельзя. Любовь не утешает, друг мой, она бессильна дать утешение; не требуйте от нее ничего, кроме беспредельного блага, ибо она не знает ни правил, ни меры, она как вы. И не надо метаться. Не надо терзать себя. Если она даст вам хоть что-нибудь — она даст вам то, чего вы ждете, — все. Это зависит от нас. Успокойтесь, дорогая. На свете нет ничего сильнее и строже последней любви мужчины.

— Да! — сказала она, тряхнув головой и улыбнувшись совсем еще по-детски. — Сильнее и строже, это так! Мне не будет пощады.

Она взяла его за руку нежным неуверенным жестом, все так же робко.

— Право, Жак, не надо на меня сердиться. Надо понять. Подумайте только, я прожила на чужбине, в заброшенной деревушке пятнадцать

лет! Пятнадцать лет одна или почти одна (вы видели во вторник у мадам д'Удло этих нелепых дворянчиков, этих титулованных мужланов), мне противно жаловаться. Мне противна всякая жалость, за исключением вашей. Не скажу, что я была несчастна. Я ждала. Чего? Кто знает?

— Вы, Франсуаза, религиозная душа.

— Нет! Нет! — воскликнула она в каком-то диком исступлении. — Мне чужда идея бога, и я в ней не нуждаюсь. Если я когда-нибудь и обрету ее, то только среди таких ужасных лишений, в глубинах такого безысходного отчаяния, что страшно даже подумать, и, мне кажется, я приму ее с ненавистью. Единственное, чем осчастливил меня отец, это безмятежное неверие, не знающее уловок и сомнений, такое же, как и у него самого.

— Безмятежное! Это слово в ваших устах, дорогая!..

— Почему же? Именно так! Вы меня выдумали, а я отнюдь не романтическая девица, не героиня ваших романов. Ваши романы! Я теперь не могу их читать. Любовь моя, мне слишком больно на каждой странице сталкиваться с вами таким тонким, таким ласковым к кому-то, кого я не знаю. Господи! Хватит с меня и той вашей лжи,

которая ждет меня в будущем! Но знаете, чем я горжусь? Своей уверенностью — и ничто ее не поколеблет, — уверенностью в том, что, как бы ни сложилась наша любовь, будем ли мы счастливы или несчастливы, что бы там ни случилось, вам не перенести нашу любовь в книгу, никогда!

— Потому что?..

Она рассмеялась и легонько подтолкнула его к стволу сосны.

— Прежде всего, спрячьтесь, вы испортите свою роскошную шляпу. Вы боитесь небесной влаги, как кошка. Гадкий! Вся ваша жизнь прошла, как под этим деревом, — в тени летом, в тепле зимой, — на вас на попало бы ни единой капли чужой грязи — ни единого грязного пятнышка, если бы…

— Я вам запрещаю! — сказал он. — Я вам запрещаю продолжать, ни слова более!

— К чему, раз вы меня отлично поняли? Жак, я вовсе не считаю себя обесчещенной. Если бы я утратила честь, что могла бы я сейчас принести в жертву вам? Ее возьмете вы, любовь моя. Вы вправе будете презирать меня, когда разлюбите, но не за ошибку, совершенную в прошлом, а за то, что, признавшись вам в ней, я приняла прощение из ваших дорогих уст и все-таки отдалась вам,

отдалась, несмотря ни на что. Подобного, думаю, не сделала бы ни одна женщина из нашего рода. Мы, итальянки…

— Итальянки! Какая вы итальянка! Вы едва говорите на языке вашей родины. И что, спрашивается, вам известно о женщинах из вашего рода? Франсуаза, Франсуаза, я не забываю, что вас нужно беречь, что ваша израненная душа ищет ласкового участия, тихой нежности, но как вы осмеливаетесь произнести слово «презрение»? Презирать вас? Да кто я такой, чтобы вас презирать? О, я отношусь к своим книгам так же, как и вы, я не могу их перечитывать без чувства стыда. Добро бы еще они были неискренни! Но между ними и мной есть чудовищное сродство, о котором я и не подозревал, на которое открыли мне глаза вы. Они таят в себе секрет своекорыстного самообмана — самого лукавого, самого низкого. Они позволили мне не страдать от собственной посредственности, не страшиться своих пороков. Хитроумный скептицизм, приятность, своего рода трепет, который разлит в них повсюду и так чарует читателя, — увы, мой друг, мне-то известны скрытые источники всего этого. Так что мы с вами отныне связаны узами куда более прочными, чем чувственность: вы первая женщина,

заставившая меня устыдиться себя. Поэтому, дорогая, не говорите мне более о прошлом, о мнимой ошибке, о нелепом сопернике, — я к нему даже не ревную. Будь, напротив, благословен этот дурачок, которому вы отдались без любви! Благословенна та ошибка, что провела эту драгоценную морщинку на вашем прекрасном чистом челе, — да и было ли это ошибкой? — заблуждение одного вечера, которое вы обратили в печаль с помощью какой-то божественной алхимии. Господи! Вам не понять… Что бы ни попало в ваше ненасытное, бесстрашное сердечко, все тотчас начинает сиять в нем ровным и мягким светом, какой-то святой печалью. Я свободен, Франсуаза. Завтра мы будем свободны оба. Я женюсь на вас. Я этого хочу.

— Нет, — сказала она. — Если вы требуете от меня этого обета, я не последую за вами. Не в моей власти принять от вас больше, чем я могу дать сама. Конечно, мне следовало молчать, но я рассказала. Я призналась. Это непоправимо. Я в вашей воле, навсегда.

— Вы рассказали из гордыни, Франсуаза.

— Да, вероятно, из гордыни. И потому еще, что невольно бравирую этим, что безрассудна, что люблю вас… И вот теперь я принимаю ваше

прощение; смиренно радуюсь ему, счастливая и малодушная. Вы увидите меня, обесчещенную, в ваших объятиях, на вашей груди, я вся ваша, сдалась вам на милость, душой и телом.

— И в этом тоже есть гордыня, Франсуаза.

— Не мучьте меня, — взмолилась она. — Не препятствуйте… Ваше прощение тоже ведь не так уж невинно, Жак… Да и откуда вы взяли, что я отдалась без любви? Никто не посмел бы сравнить такого человека, как вы, с жалким деревенским виконтом, к тому же довольно глупым. Но то, что я совершила, хуже, чем если бы я полюбила его, мой дорогой. Хуже, чем если бы я просто упала в его объятия из каприза, из легкомыслия или из прихоти.

— Вы бессильны против меня, дорогая. Зачем только вы понапрасну терзаете себя! Бедная ваша душа, как мне жаль ее!

— Не препятствуйте мне, не препятствуйте! Я верю, что так одолею несчастье и воскресну. К тому же это случилось в весенний вечер, точно такой, как сегодня, с дождем и грязью, с пронзительным западным ветром и этими криками воронья. Зачем только меня, бедную четырехлетнюю девчушку, привезли сюда! Так далеко от родины, or близких, от прошлого моей семьи,

точно найденыша, точно рабыню? Там, в Венецианской области, у меня, кажется, еще есть дядя, двоюродные братья, старые друзья, как знать? Нет такой книги по истории Венецианской республики, где бы не упоминалось чуть ли не на каждой странице наше имя. И, однако, отец ни разу, ни единым словом не дал мне повода нарушить молчание, куда более ужасное, чем сама жизнь на чужбине! Потому что он отрекся от близких. Он считает, что он квит с ними, со мной, со всеми на свете. Он никому ничего не должен.

— Несчастье не одолевают, любовь моя, о нем забывают. Вы не хотите о нем забыть.

— Сегодня меньше, чем когда-либо.

— Раньше я рассуждал бы так же, как вы. Теперь я знаю, что прошлое, счастливое или несчастное, способно все испортить. Оно портит все.

— А я воскресаю, поймите. Жак, любовь моя, вы не понимаете. Все эти истории о гонимых девушках, свирепых отцах и домашней тирании отдают дурным романом, все это глупо. Да, глупо. И вдобавок — не улыбайтесь! — я смешна еще и тем, что я иностранка, знатна, сирота, живу в замке, затерянном в сельской глуши, отдана во власть вельможе, старому ипохондрику, наподобие отца Шатобриана. Но что поделаешь? Разве я

выбрала эту обстановку? Я ее ненавижу.

— Не давайте себе труда ненавидеть то, с чем вы завтра расстанетесь.

— Я ее ненавижу. Ненавижу молча. Никто об этом даже не подозревает. Я страдала здесь без слез, просто, так просто, как могла, и один бог знает, чего мне стоила эта простота! Жак, если бы не появились вы, мне кажется, она постепенно поглотила бы все силы моего сердца.

— Кому бы вы принесли эту жертву? Да, Франсуаза, я прав, когда говорю, что вы религиозная душа. Ничто вас не манит. Ничто не искушает. Вам важно обладать чем-либо прежде, чем вы успели этого пожелать. Да, в желаниях, с которыми, тоскуя, живут и умирают люди, вы никогда не обретете ни покоя, ни отдыха. Но даже для сердца, склонного к любым безумствам, нет ничего более безумного, чем лелеять и упрямо вынашивать чудовищную, вздорную мечту о жертве без любви. Ни один даже самый сумасбродный святой не возложил бы на себя такое бремя. Если есть хотя бы тысячная доля надежды, что бог все-таки существует, этого довольно: не нужно искушать бога.

— И тысячной доли нет. Я искушаю себя, Жак, а не бога.

— Святой ответил бы, разумеется, что это одно и то же. Не стану лгать, Франсуаза: я прекрасно вижу, сколько ребяческого в вашем вызове, но детская мечта, если она жестока, не бывает жестокой наполовину. Это себя, себя вы ненавидите, дорогая! И вымещаете свою ненависть, безжалостно вымещаете ее на самом драгоценном, самом изболевшемся и самом уязвимом, что есть в вас, на вашей гордости. Вы маленькая святая, Франсуаза, вот в чем суть. Вы маленькая святая, но только святость ваша бесцельна. Ей не дано ни знания, ни цели, и это роднит ее с моей печалью, хотя источник моей печали до такой степени нечист, что мне стыдно его вам назвать, и безмерно банален — это развращенность литератора, торговца вымышленными историями.

— Развращенность! — сказала она, сжав бледные губы.

— Не ищите мне извинений. Ничто не извиняет меня, кроме скуки. Вряд ли кто-нибудь скучал так, как я; я познал, что у меня есть душа, только благодаря скуке. Но я, по крайней мере, делал все, чтобы усыпить свою душу, едва скука ее пробуждала. Тогда как вы, дорогая маленькая безумица, вы свою душу не перестаете растравлять, вы не даете ей ни секунды роздыха, словно

дрессировщик с его вилами и хлыстом, и она в конце концов пожрет вас.

— Что за странная мысль! — воскликнула она, громко смеясь, но смертельно бледная.

— Послушайте меня! Послушайте! Еще минуту. Мы безумны. Мы оба безумны. Вас накрыла тень гигантского крыла, оно сметет нас обоих. Можно пойти на сделку со скукой, с пороком, даже с отчаянием, но не с гордыней.

Она обратила к нему свое серьезное, спокойное лицо, и он с удивлением, почти с ужасом увидел, что оно залито слезами.

— Гордыня? Гадкий, — сказала она тихим голосом, — гадкий, разве мало того, что я призналась в… Да! В том, что любая другая утаила бы от вас.

— Я этого не требовал, бедная любовь моя. Не спешите презирать меня, Франсуаза! Я шел к вам, как человек, который загубил свою жизнь, не испытав при этом ничего, кроме скуки, свободной от всяких угрызений, как человек, который потерял свою жизнь, сам не ведая где. И я был действительно тяжко болен, если мне взбрело на ум купить что-то, — хижину, уединенный приют (уединенный приют литератора, увы!) в этих дождливых краях, где даже в апреле пахнет осенней гнилью. Но тут я встретил вас. Впервые

я встретил вас у госпожи Эддингтон. Неужели вы думаете, что я, хоть на мгновение, мог принять вас за обыкновенную девушку, такую, как все? Был ли я вправе претендовать на то, чего требует двадцатилетний влюбленный? Был ли я вправе вообще на что-то претендовать? Я видел только свою печаль, свою собственную печаль, — она вставала в ваших спокойных глазах. Я ждал от вас только проницательной, ясновидческой жалости, заменяющей вам опыт, той обостренной чувствительности к боли другого, в которой есть что-то до такой степени роковое, до такой степени мучительное, что перед этим отступает любая поэзия. Стоило ли меня испытывать, Франсуаза, испытывать мои силы, рискуя лишить меня последнего ничтожного шанса быть счастливым? Должен ли был я подвергаться такому риску с вами?

— Простите меня, прошу вас, — произнесла она после паузы, столь долгой, что порыв пронзительного ветра успел донести до них позвякивание наковальни из далекой деревни. — Простите меня, любовь моя.

— Согласитесь быть моей женой. Обещайте мне, по крайней мере, что согласитесь на это впоследствии. Зачем нам скрываться, точно мы

воры, убегать куда-то в Сирию, когда так просто попросить вашей руки у отца, а если он откажет, обойтись без его согласия?

— Не требуйте невозможного, — сказала она, все еще плача беззвучно, обратив к нему просветленное лицо. — Поверьте, это вовсе не каприз, я не хочу сделать вам больно. Я буду вашей любовницей, Жак, дорогой, только любовницей, я отдамся вам по первому вашему слову, по первому знаку, я принадлежу вам одному. Чего же больше? Но я не буду вашей женой. Я не стану носить ваше имя. От меня зависело промолчать; я все рассказала, и вы все же не отвергаете меня, этого довольно. Любовь моя, я получила ваше прощение, не умерев от стыда; не требуйте, чтобы оно стало прощением узаконенным, юридической сделкой. У святых, о которых вы сейчас говорили, есть только сегодняшний день, но они надеются на вечное блаженство, их счета в кассовых книгах Рая в полном ажуре. Пусть моя бедность будет беднее бедности святых! От одного тебя, от твоей доброй воли, от твоей бесценной жалости будет зависеть каждый год, каждый месяц, каждая неделя, каждое утро моей смиренной жизни. Каждая ночь, проведенная в твоем доме, станет моей победой над временем,

забвением, пресыщенностью, мнением света, над всеми силами, которые меня гнетут и которые я ненавижу. Увы! Ты сказал правду, ты был прав, я согласна, но откуда во мне эта гордыня, почему я не могу от нее избавиться? И все же я избавлюсь! Откуда эта отвратительная тяга к недосягаемому, нечеловеческому совершенству, к самоотречению, к мученичеству? Я с ней покончу. Если этого требует моя душа, — ангел ли она или животное, — я больше не в силах ее терпеть.

— Ангел или животное, — поверьте мне, Франсуаза, душа всегда одерживает верх над нами.

— Не так уж это неизбежно, как вы говорите. Конечно, мне чужда идея бога, она меня не занимает, Вероятно, люди просто обожествили свой страх смерти или что-то еще. Какое нам дело до этого? Мы смерти не боимся.

— Я боюсь ее, только ее я и боюсь.

— Значит, вы ничего не боитесь. Что вы успеете узнать о ней, милый? Мгновение страха, полное жизни… Нет, я не поверю ни в бога, ни в души, но я верю в некое внутреннее начало, которое причиняет мне боль, узурпирует мою волю и пытается меня перехитрить. Вы обвиняете меня в том, что я себе противоречу, что понапрасну себя терзаю, но ведь это я борюсь с ним, и если

порой я кажусь вам своевольной или безумной, то потому только, что борюсь я вслепую, обнаруживаю врага лишь мало-помалу, по тем ударам, которые он мне наносит. Да, лишь мало-помалу я обнаруживаю его силу и коварство этой силы. И все же я могла бы назвать его по имени: это гордыня, Жак, та самая гордыня, которая, как вы только что сказали, затмевает мой разум, из-за нее я то рассудительна, то безумна, то осторожна, то сумасбродна, не похожа сама на себя. Это — гордыня, но гордыня не моя.

— Только ли в гордыне, Франсуаза, причина вашей трезвой запальчивости?

— Разве вы знаете, что такое быть угнетенной своим родом, порабощенной, раздавленной им! За эти два месяца вам случалось несколько раз видеть моего отца. Его достаточно увидеть и услышать однажды — этот взгляд, в силу неизъяснимого противоречия одновременно мечтательный и жесткий, это длинное узкое лицо, отмеченное продольными морщинами, бесстрастное даже в смехе, этот надменный подбородок, эта его манера слегка отворачивать плечи, вздергивая голову, точно он заведомо отрицает свою причастность к чему бы то ни было, снимает с себя всякую ответственность и с

наглым сочувствием, более оскорбительным, чем презрение, считает, что заведомо расквитался навсегда с себе подобными, с их несчастьями или ошибками. Ни разу я не получила от него предупреждения, совета, приказанья, которое он не процедил бы сквозь зубы, небрежно. Существует ледяная учтивость: в его учтивости нет даже этого причиняющего боль холода. Клянусь, что у него все размечено, все в ажуре, хотя живет он одиноко, замкнуто: самой изощренной вражде не за что уцепиться. Моя мать умерла через шесть месяцев после моего рождения, в расцвете молодости, в расцвете красоты, и он однажды сказал мне, что она была проста и совершенна (каким тоном!)… И что же, вы не увидите ни одного ее портрета у него в квартире, ни даже — я убеждена — в его ящиках. Прелестная гравюра Мондоли повешена в маленьком салоне туалетной, куда он больше не заходит. Что еще добавить? Если он порвал со своими, если обрек себя на одинокую старость в четырехстах милях от родины, то его побудило к этому что-то, чего я не знаю, но могу себе представить, что-то, похожее на него самого, какой-нибудь долг чести, — его чести, чести, как он ее понимает, потому что у него есть честь для собственного употребления, непостижимая для

других, примитивная и суеверная, как религия дикарей. Да, что бы там ни было, гордыня, одна гордыня привела его сюда и вынудит здесь умереть… И весь его род таков, Жак. Не смейтесь! Вы, во Франции, забыли, что такое род, у вас слишком острый ум, вы от всего отделываетесь смехом — и смех в самом деле освобождает, ваш смех, смех по-французски. Я никогда не умела смеяться, как вы. И не сумею. Такой род, как наш, — тяжкое бремя!

— Призрак, дорогая. Достаточно было взглянуть ему в лицо. Призрак, скитающийся в здешних туманах, по здешним лужайкам… Но вы уедете со мной так далеко, что больше его не встретите никогда.

— Дай бог, чтобы ваши слова оказались правдой, Жак.

— Так ли уж вы хотите слышать от меня правду, мой бедный друг!

— Я знаю, что вы думаете! В вашей жалости всегда есть доля лукавства. И мне действительно ничего не известно о родне, даже самой близкой. Все мои сведения о нашей семье почерпнуты из старой книги по истории моей страны, а что мне сейчас до всех этих дожей и догаресс? Они мне смешны. Они не могут причинить мне никакого

зла. Неужели вы всерьез считаете меня способной кичиться знатностью происхождения, на манер госпожи де ля Фраметт или маленького Клержана, над которыми мы потешались вчера? На свете немало таких же несчастных девушек, как я, и они ощущают на своих плечах бремя не менее тяжкое, хотя они и не титулованы, не знатны: щепетильность, порядочность, несгибаемая и патриархальная добродетель пращуров и прапращуров, многих поколений безупречных, незаметных, упорствующих в добре женщин, благоразумных и простодушных, всегда готовых забыть о себе, поступиться, пожертвовать собой, страстно мечтающих о самопожертвовании. А ради чего жертвовать мне, спрашивала я себя. Они ведь были богобоязненны, страшились бога, ада, греха, верили в ангелов, не поддавались соблазнам, их преодолели. Они унесли с собой свою набожность, оставив мне одно благоразумие. Но на что мне оно? Для них благоразумие было венцом жизни, а для меня? Соблазны мне неведомы. То, что они называли безумьем, по сей день отвращает мои чувства и рассудок. Их зависимость была добровольной, моя — абсурдна, деспотична и невыносима. Однажды я уступила, я отдалась, не по любви, не из любопытства, тем более не

из порочности, — только для того, чтобы выйти из этого заколдованного круга, порвать с ними, найти наконец самое себя на дне унижения, омерзительного стыда, чтобы перед кем-нибудь покраснеть. Но могла ли я надеяться, что изничтожу гордыню, корни которой не во мне? Даже под взглядом отца я не опускала глаз. Я слишком хорошо чувствовала, что если бы он смог прочесть в моем сердце все мое отчаяние, всю мою ярость, он признал бы во мне, по манере бросать подобный вызов, существо своей породы.

Она обратила к нему дрожащие уста и сказала каким-то отчужденным голосом:

— Но ваше прощение, Жак, ваше прощение меня унизило.

Он принял ее в свои объятия; на короткое мгновение он ощутил на своих губах ее холодные губы и осмелился слегка прижать рукой маленькое, теплое, сотрясаемое дрожью тело. Но она быстро отпрянула.

— Не я, а ты одержал верх над моей душой, — сказала она. — Душа — это всего лишь громкое слово, поверь, не так уж она страшна, как принято считать. Не делай таких суровых глаз! Уж не суеверен ли ты, любовь моя?

Она, смеясь, вырвалась из его объятий.

— Я буду ждать вас завтра в Лусьенне, завтра утром… и, знаете, я ничего отсюда не возьму… Ничего, ни единой нитки… с обритой головой кающейся грешницы, с пустыми руками….

На западе, в длинной прогалине, показалось небо бледной синевы, и края раздвинутых туч разом вспыхнули. Прощальный трепет блуждающего светила внезапно блеснул в тысячах граней дождя.